

От Термидора назад к Октябрю?

По поводу разрыва т.т. Бармина и Кривицкого со сталинщиной

Три месяца тому назад был убит Игнатий Райсс. Этим убийством Сталин пытался задержать распад своего заграничного аппарата. Мы тогда же писали, что цель не будет достигнута, что убийство Райсса не только не остановит других Райссов — а их много во всех аппаратах! — но скорее послужит для них дополнительным толчком. Сегодня это доказано фактами. 1 декабря бывший поверенный в делах в Афинах, член партии с 1919 года, Александр Бармин открытым заявлением порвал со сталинщиной. 5 декабря то же сделал Вальтер Кривицкий, очень ответственный работник нелегального аппарата, член партии с восемнадцатилетним стажем. Очень вероятно, что за ними последует и ряд других советских работников за границей.

Разумеется, разрыв отдельных представителей аппарата со сталинщиной является лишь эпизодом борьбы Сталина с остатками коммунистической партии, но эпизодом большого симптоматического, и не только симптоматического значения. Разрыв имеет ярко выраженный политический характер и совершен перед лицом мировой рабочей общественности. Т.т. Кривицкий и Бармин открыто и во всеуслышание сообщили почему и во имя чего они порвали со сталинским режимом.

В своих заявлениях авторы не только рвут со сталинщиной, но и резко отмежевываются направо; они заявляют, что действуют, как коммунисты, делая этот шаг во имя социализма и интересов рабочего класса. Их заявления не оставляют щели, куда могли бы пролезть белогвардейцы, буржуа и их разношерстные друзья. Все это можно только приветствовать!

Своими действиями т.т. Бармин и Кривицкий показывают, что они не имеют ничего общего с пресловутым «невозвращенчеством». Там люди рвали (поскольку им вообще было с чем рвать) не со сталинским режимом, а с революцией, с рабочим движением, рвали по причинам личного комфорта, в «борьбе» за хлеб с маслом и граммофон с пластинками. Большинство, так называемых, «невозвращенцев» немедленно нырнуло в обывательщину, т.-е. открыто стали тем, чем они на самом деле были всегда: меньшинство переменяло лишь хозяина — Сталина на румынскую или иную разведку. Собирательным типом этих продажных карьеристов и прохвостов стали Беседовский и Агабеков.

* * *

Чтоб правильно оценить разрыв т.т. Бармина и Кривицкого с Кремлем, его нужно рассматривать, как составную часть того глубокого и кровавого процесса ликвидации старых кадров, который ныне происходит в СССР. Аппарат, при помощи которого Сталин поднялся на свою нынешнюю высоту, при помощи которого он раздавил революционное крыло в СССР, в немалой степени состоял из людей, искренне веривших, по крайней мере в начале, что иначе нельзя, что

нынешняя верхушка — пусть при помощи методов, которые им не по душе — все же обеспечивает развитие СССР к социализму. Значительная часть этого старого аппарата, вошедшая в партию до революции или в начале революции (как Райсс, Кривицкий и Бармин) уже давно оказывала глухое сопротивление Сталину, а в последние годы — московские процессы! — все с большей тревогой и растущим негодованием относилась к сталинской политике и сталинским методам.

Но делая первую уступку своей совести в 1924 году, или не понимая происходящего, люди эти вынуждены были в дальнейшем сдавать позицию за позицией и постепенно становились пленниками Сталина, связав свою судьбу с судьбой его режима. Они не могли забыть прошлого, но не препятствовали другим фальсифицировать его. Они внутренне не могли до конца порвать с большевизмом, но помогали — вольно или невольно — ликвидации большевизма. Бывшие революционеры, они стали покорными чиновниками, критикуя Сталина в узкой — все более узкой — среде, они часто ненавидели его в свободное от службы время. Публично они поддерживали все, что от них требовалось, избегали сами делать гнусности, но не имели ни веры, ни мужества, чтоб бороться с ними. Так они жили, мучаемые сомнениями, и выполняя приказы. Аппарат же цепко держал их в своих тисках.

Термидор не означал ещё открытой ликвидации революции. Он был глубокой реакцией, покамест на старом социальном фундаменте, под прикрытием вчерашних привычных формул. Тем легче захватила их его волна. Сами того не замечая, или не имея сил для сопротивления, они «сползали», как и весь правящий слой, приспособлялись к режиму, но ассимилироваться, стать настоящими сталинцами не могли. Если была возможность, они старались уйти от политики — в науку, в полярные экспедиции, за границу. В трудные моменты — вера в то, что их работа служит все же интересам социализма, поддерживала их.

Под наслоениями термидорианской эпохи люди эти сохранили большевистскую жилку. Это предопределило их дальнейшую судьбу. Они оказались непригодными для новых дел и предательств. На путях ликвидации революции и в борьбе за сохранение власти, Сталину не оставалось ничего другого, как завершить начатый процессом Зиновьева кровавый отбор в аппарате. Трагический конфликт части аппарата, сохранившей связь с революцией и ею же установленным режимом, разрешается ныне маузером палача в гетакормах ГПУ.

Обстоятельства, т.-е. нахождение вне СССР, позволили т.т. Бармину и Кривицкому найти другое решение: открыто порвать со сталинским режимом.

* * *

Нам могут сказать, что эти товарищи порвали не на общих вопросах, а на вопросе «частном», об их личной судьбе. Разумеется, ощущение личной обреченности сыграло большую роль в их решении порвать с Москвой. Это отражают и их заявления, написанные с большой искренностью. Но этот «частный» вопрос не упал с неба. Если т.т. Бармин и Кривицкий подвергались опасности в СССР,

то не в порядке какой-то бюрократической лотереи, а потому что они принадлежали к определенному слою несталинцев, которых Сталин с Ежовым называют троцкистами и беспощадно истребляют.

Т.т. Бармин и Кривицкий не раз рисковали жизнью в борьбе за советскую власть, в гражданской войне или при других обстоятельствах. Они тогда знали за что. С какой целью, во имя чего должны были эти товарищи теперь отправиться на сталинскую бойню и погибнуть за ставшее для них чужим дело?

Все, что накопилось у них годами, что было неосознано, лежало под спудом, только теперь прорвалось наружу. (Особо нужно указать на влияние московских процессов, отнявших последнюю веру, безжалостно уничтоживших последнюю иллюзию). Ставить им это в упрек было бы так же нелепо, как упрекать их за их прошлое. Не все пути так прямолинейны, как путь большевиков-ленинцев, но большевики-ленинцы не сектанты, они не делают изъятий ни для кого и готовы работать рука об руку со всеми, кто на основе большевизма будет бороться против сталинщины. К большевизму придут ещё многие, не только в 1938 году, но и позже. Закрыть перед ними двери, — значило бы, помимо всего прочего, толкнуть всех сомневающихся и колеблющихся к Сталину, сказать, что им нет другого места, как у Сталина, что с ним они связаны на жизнь и на смерть. Это значило бы оказать Сталину наибольшую услугу.

Несколько сложнее мог бы стать вопрос об организационном присоединении к большевикам-ленинцам, которые предъявляют жесткие требования к своим членам. Но этот вопрос пока не стоит.

Из заявлений т.т. Бармина и Кривицкого, как и из всего вышесказанного, вытекает, что они не троцкисты, или, если угодно, они троцкисты в сталинском понимании этого слова — не в нашем. Что-ж, мы можем с удовлетворением констатировать, что — если судить по т.т. Бармину и Кривицкому — люди, которых Сталин называет троцкистами, не чужие нам люди, и что с многими из них мы несомненно в будущем будем дружно работать за общее дело.

Т.т. Кривицкий и Бармин сделали большой шаг, порвав со сталинщиной, но остается главное: «начать все с начала, — как писал тов. Райсс, — чтоб спасти социализм». Надо найти путь назад в революционное рабочее движение, под старое большевистское знамя Ленина.

Н. Маркин.

В Комитет по расследованию московских процессов

Покинув работу, порученную мне советским правительством, я считаю своим долгом довести об этом до вашего сведения и во имя гуманности поднять голос протеста против преступлений, число которых растет с каждым днем.

Первый секретарь полпредства СССР в Афинах с декабря 1935 г., затем поверенный в делах в Афинах с марта 1937 года, я в течение 19 лет находился на советской работе, в течение 19 лет был членом ВКП, активно борясь за советскую власть и отдав все силы рабочему государству.

Поступив добровольцем в Красную армию в 1919 году, я шесть месяцев спустя — за отличие в боях — был назначен политическим комиссаром сперва батальона, затем полка; окончив школу командного состава, я занимал разные командные должности на Западном фронте. После наступления на Варшаву, Реввоенсовет 16-ой армии направил меня в Академию Генерального Штаба. В 1923 году, по окончании Академии, я перешел в запас в должности командира бригады. С 1923 по 1925 г. я был генеральным консулом СССР в Персии. В течение десяти лет я работал в Наркомвнешторге; с 1929 по 1931 г. — главным директором импорта во Франции и Италии. В 1932 году — официальным агентом СССР в Бельгии, членом правительственной делегации в Польше в 1933 г., председателем треста по экспорту продукции автомобильной и авиационной промышленности в 1934—1935 гг. Таково краткое перечисление должностей, которые я занимал, до моего назначения в Грецию. На каких бы постах я ни находился, я думал лишь о том, чтоб сознательно и преданно служить моей стране и социализму.

Московские процессы вызвали во мне чувство ужаса и отвращения. Я не мог примириться с казнью старых вождей революции, несмотря на расточаемые ими «признания». Признания эти лишь увеличивали мое душевное смятение и в то же время укрепили мои последние иллюзии.

Моя искренняя преданность рабочему классу и советскому народу, трудность для меня поверить в то, что руководители страны способны на такие преступления, заставили меня в начале совершить насилие над собой и покориться фактам. Но события последних месяцев (которые я провел во Франции в отпуску) лишили меня последних иллюзий. Громкие процессы подготовили массовое истребление коммунистических кадров, т.-е. членов партии, боровшихся в подполье, руководивших революцией и гражданской войной и обеспечивших победу палачам. Мне стало ясно, что в СССР устанавливается реакционная диктатура.

В тюрьмах один за другим исчезли — может быть уже убиты — мои руководители и товарищи, все старые большевики: бывший посол и заместитель народного комиссара по иностранным делам, Крестинский; председатель общества культурной связи с границей — Аросев; бывший заместитель наркома и посол в Анкаре — Карахан, который, по-видимому, уже расстрелян; посол Юренев — один из руководящих комиссаров Красной армии в 1918—1919 гг.; Элиава, заместитель наркома внешней торговли; мои друзья и товарищи, с которыми я рука об руку боролся и работал в течение последних двадцати лет: директора отделов Наркоминдела Цукерман и Фехнер, послы СССР — Асмус (Гельсингфорс), Подольский (Ковно) и Островский (Бухарест), друг и ставленник Ворошилова; генералы Геккер, Шмидт и Савицкий — герои гражданской войны и мои товарищи по Военной Академии; наконец, послы Давтян, Карский,

Богомоллов, Розенберг, Бродовский, лично меньше мне известные, но в честности и преданности которых я глубоко убежден.

Я обращаюсь к общественному мнению с самым настойчивым и отчаянным призывом в защиту тех из них, которые может быть ещё живы. Я горячо протестую против лживых и подлых обвинений. Я думаю о моих товарищах, оставшихся на постах в разных странах Европы, Азии и Америки. Та же судьба ждет их. Та же трагическая дилемма: вернуться в СССР, что означает верную гибель, или, оставшись за границей, идти на риск быть убитым иностранными агентами ГПУ, агентами, которые до недавнего ещё времени ходили за мной по пятам.

Дальнейшее пребывание на службе у сталинского правительства означало бы для меня худшую деморализацию, сделало бы меня соучастником тех преступлений, которые каждый день совершаются над моим народом. Это было бы с моей стороны предательством дела социализма, которому я посвятил всю свою жизнь.

Я следую голосу моей совести, порывая с этим правительством. Я отдаю себе отчет в опасностях, связанных с этим шагом. Я подписываю себе смертный приговор и становлюсь под удар наемных убийц. Все это ни в малейшей степени не может повлиять на линию моего поведения. Отправив свою отставку в Наркоминдел и отказавшись от дипломатической неприкосновенности, я отныне являюсь политическим эмигрантом и ставлю себя под защиту законов и общественного мнения, оказавшей мне гостеприимство страны. Я действую в уверенности, что больше, чем когда бы то ни было, остаюсь верен идеям, которым служил всю жизнь.

Да поможет мой голос общественному мнению понять, что этот режим отрекся от социализма и всякой гуманности.

Александр Бармин (Графф).
1 декабря 1937 г.

Письмо в рабочую печать

18 лет я преданно служил коммунистической партии и советской власти, в твердой уверенности, что служу делу Октябрьской революции, делу рабочего класса. Член ВКП с 1919 года, ответственный военно-политический работник Красной армии в течение многих лет, затем директор Института военной промышленности, я в течение последних двух лет выполнял специальные миссии советского правительства за границей. Руководящие партийные и советские органы постоянно оказывали мне полное доверие; я был дважды награжден (орденом «Красного знамени» и почетным оружием).

В последние годы я с возрастающей тревогой следил за политикой советского правительства, но подчинял свои сомнения и разногласия необходимости защищать интересы Советского Союза и социализма, которым служила моя

работа. Но развернувшиеся события убедили меня в том, что политика сталинского правительства все больше расходится с интересами не только Советского Союза, но и мирового рабочего движения вообще.

Через московские публичные — и ещё больше через тайные — процессы прошли в качестве «шпионов» и «агентов Гестапо» самые выдающиеся представители старой партийной гвардии: Зиновьев, Каменев, И. Н. Смирнов, Бухарин, Рыков, Раковский и другие; лучшие экономисты и ученые: Пятаков, Смилга, Пашуканис и тысячи других, — перечислить их здесь нет никакой возможности. Не только старики, все лучшее, что имел Советский Союз среди октябрьского и по-октябрьского поколений, — те, кто в огне гражданской войны, в голоде и холоде строили советскую власть, подвергнуты сейчас кровавой расправе. Сталин не остановился даже перед тем, чтоб обезглавить Красную армию. Он казнил её лучших полководцев, её наиболее талантливых вождей: Тухачевского, Якира, Уборевича, Гамарника. Он лживо обвинил их — как и все другие свои жертвы — в измене. В действительности же, именно сталинская политика — подрывает военную мощь Советского Союза, его обороноспособность, советскую экономику и науку, все отрасли советского строительства.

При помощи методов — которые ещё станут известны (например, при допросе Смирнова и Мрачковского), — кажущихся невероятными на Западе, Сталин-Ежов вымогают у своих жертв «признания» и инсценируют позорные процессы.

Каждый новый процесс, каждая новая расправа все глубже подрывала мою веру. У меня было достаточно данных, чтоб знать, как строились эти процессы и понимать, что погибают невинные. Но я долго стремился подавить в себе чувства отвращения и негодования, убедить себя в том, что несмотря ни на что нельзя покидать доверенную мне ответственную работу. Огромные усилия понадобились мне — я должен это признать — чтоб решиться на разрыв с Москвой и остаться за границей.

Оставаясь за границей, я надеюсь получить возможность помочь реабилитации тех десятков тысяч мнимых «шпионов» и «агентов Гестапо», в действительности, преданных борцов рабочего класса, которые арестовываются, ссылаются, убиваются, расстреливаются нынешними хозяевами режима, который эти борцы создали под руководством Ленина и продолжали укреплять после его смерти.

Я знаю — и имею тому доказательства, — что голова моя оценена. Знаю, что Ежов и его помощники не остановятся ни перед чем, чтоб убить меня и тем заставить замолчать; что десятки на все готовых людей Ежова рыщут с этой целью по моим следам.

Я считаю своим долгом революционера довести обо всем этом до сведения мировой рабочей общественности.

В. Кривицкий (Вальтер).

5 декабря 1937 г.

Из беседы с тов. Кривицким (Вальтером)

Какова сейчас ваша политическая позиция?

Я не причисляю себя к какой-нибудь политической группировке и в ближайшее время намерен жить в качестве частного лица. Разумеется, я целиком стою на почве Октябрьской революции, которая была и остается исходным пунктом моего политического развития.

Если я хотел встретиться и ближе познакомиться с вами, то не потому, что я считаю себя троцкистом — это вытекает из вышесказанного — а потому, что Троцкий в моем сознании и убеждении неразрывно связан с Октябрьской революцией.

Что вы думаете о московских антитроцкистских процессах?

Я знаю и имею основания утверждать, что московские процессы — ложь с начала до конца. Это маневр, который должен облегчить окончательную ликвидацию революционного интернационализма, большевизма, учения Ленина и всего дела Октябрьской революции.

Вы спрашиваете, как готовятся «дела» и расправы? Ограничусь пока одним примером. Несколько месяцев тому назад был арестован Уншлихт. Арест Уншлихта взволновал меня, и я решил поговорить о его «деле» с весьма ответственным работником ГПУ Ш. (Речь идет о заместителе начальника иностранного отдела ГПУ, Шпигельглас.)

Ш. рассказал, что в начале июля его вызвал к себе Фриновский (заместитель Ежова), передал ему какую-то бумажку и сказал: Вы должны перевести содержание этой бумаги и только вы, должны знать об этом. (Перевести с польского на русский). Каково же было содержание этой бумаги? — спросил я. Ш. ответил, что это было заявление, написанное лично Дзержинским, кажется, в 1910 году, в котором Дзержинский утверждал, что Уншлихт состоит на службе в царской охранке. Я возразил: ведь известно, что это дело было тогда же разобрано и было доказано, что Дзержинский ошибся; что Дзержинский взял свое обвинение назад и признал свою ошибку; что Ленин назначил Уншлихта заместителем Дзержинского в ВЧК; что в течении многих лет Дзержинский дружно работал с Уншлихтом и т.д. Ш. мне на это ничего не ответил, да и ничего ответить не мог. А Уншлихт теперь сидит, и может быть уже и расстрелян по этому «делу».

Что касается борьбы с троцкизмом, то скажу вам только, одно. Впечатление такое, что Сталин ни о чем другом не думает, что для него не существует других вопросов. В СССР ли, за границей ли, когда возникает какой-нибудь вопрос, дело и пр. — к нему подходят прежде всего под углом зрения борьбы с троцкизмом. Хорошо ли, плохо ли человек ведет работу — неважно. Важно — борется ли он с троцкистами. Делаешь доклад по серьезнейшему вопросу, видишь, что тебя

почти не слушают. Под конец же спрашивают: а по части троцкистов, как у тебя обстоит дело?

О похищении Эрвина Вольфа, Рейна и других я, к сожалению, ничего не знаю. Не сомневаюсь, что их отвезли в Москву. Мне лично известен случай похищения одного англичанина в Испании. Фамилии не помню, кличка его была Френт. Это был молодой радиотехник, коммунист, приехавший в 1936 г. в Москву, где он совершенствовался по радио. В СССР у него был брат, также коммунист, в течение многих лет работавший в качестве инженера в советской промышленности. Из Москвы Френт выехал в Испанию, где он работал в качестве радиотехника. Там он довольно открыто высказывал свои сомнения по вопросу о сталинской политике в Испании, был противником ликвидации ПОУМ'а и пр. ГПУ сделало соответственные выводы, т.-е. решило увести его в Москву. Мне известно, что ему было предложено, как хорошему специалисту, произвести какой-то ремонт радиоустановки на советском пароходе. Таким путем его и привезли в Одессу.

Каково по вашему мнению число политических арестованных в СССР за последний период?

Из очень авторитетного источника я слышал, что число это определялось в мае месяце этого года в 300.000 человек. В подавляющем большинстве — это члены партии и их семьи. С того времени число арестованных значительно возросло, может быть достигло полумиллиона.

Знаете ли вы что-нибудь о работе оппозиции в СССР?

За последнее время — не знаю. В 1935 году, когда я был в Москве, на заводах и в университетах была распространена листовка троцкистского характера.

Что вы можете сказать об убийстве Райсса?

Мировое общественное мнение не сомневается в том, что Райсса убили агенты ГПУ. Я это подтверждаю.

Подвергается ли, по вашему мнению, опасности вдова Райсса и её ребенок?

Это не подлежит никакому сомнению.

Л. С.

Ответ тов. А. Бармина на два вопроса

Почему и как я порвал со сталинским режимом?

Кровавая июньская расправа с Тухачевским и другими вождями Красной армии глубоко потрясла мое сознание и поставила перед ним все пережитые сомнения о путях развития революции и её судьбе. Снова встали переживания тяжелых и мучительных дней процессов Зиновьева и Пятакова. Растерянность, тяжелое

недоумение царили среди всех товарищей по работе в афинском полпредстве. Люди молчали и избегали говорить о происшедших событиях, плохо скрывая свою тревогу и недоумение.

Несмотря на подавленность и — ставшую в последнее время обычной — разобщенность, мне все же было трудно не поделиться с некоторыми товарищами моим беспокойством, болью за судьбы СССР, за крепость Красной армии, лишенной талантливейших вождей — цвета её комсостава. Трудно было не высказать свое отрицательное отношение к мутному потоку грязи и клеветы, которыми «Правда» и другие газеты обливали проверенных в боях, преданных революционеров.

Казалось, что мои собеседники искренне разделяют мои чувства и сомнения. Однако, довольно скоро ряд симптомов дал мне почувствовать, что, во-первых, Москве стали известны эти разговоры, и, во-вторых, из них сделаны «соответствующие выводы». Был срочно вызван в Москву под малоправдоподобным предлогом один из моих сотрудников (видимо в качестве «свидетеля»). Мои друзья и товарищи по Наркоминделу, регулярно, каждый месяц, с диппочтой посылавшие мне дружеские письма, стали глухи и немы. Ни одного письма за четыре месяца! Не достаивало меня своим вниманием и руководство Наркомата, не ответившее даже на письма с рядом серьезных вопросов, вставших после смерти полпреда Кобецкого, находившегося в Москве с марта. Наконец, однажды Завсекретариатом Лукьянов (как брат секретаря ЦК ВЛКСМ он, видимо, пользовался в то время большим доверием — никто в Наркоминделе не мог предполагать, что через пару недель его знатный родич, вождь комсомола, будет объявлен «Правдой» троцкистским бандитом и германо-японским шпионом), войдя ко мне в кабинет смущенно заявил, что получил письменное предписание из Москвы лично, без моего участия, опечатать все архивы Кобецкого и отправить их немедленно в Москву. Было похоже на то, что наркоминдельскому аппарату становилось опасно иметь со мной дело. Я уже не подыскивал больше случайных объяснений этой постепенной изоляции. Я понял и поставил вопрос о моем отзыве в Москву — ответа не было. Излишне говорить, какое отвращение и горечь охватили меня, когда я случайно увидел моих подчиненных, вскрывавших мой личный письменный стол и заглядывавших в мой портфель.

Я не старался особенно скрывать своих настроений. Когда я увидел, что вокруг меня начинается трусливая и отвратительная возня, что внезапно ко мне проявляется фальшиво-лицемерная сердечность и сочувствие (я в это время болел осложнением старого радикулита), но что с меня не спускают глаз, когда меня стали смущенно-настойчиво приглашать поужинать на прибывший совпароход, — я почувствовал глубокое презрение к людям, пытающимся спасти себя и обеспечить свою карьеру этим грязным предательством товарища. Оказалось, что двадцатью годами службы революции, я не заслужил даже возможности выслушать честное и прямое обвинение в своей «ереси». Уже вошло в обычай — вместо открытых обвинений — втайне и молча делать подлое дело ренегатов. «Подозрительные» должны быть ликвидированы секретно, без шума.

19 июля я телеграфировал в Москву, что беру отпуск, предложив временное руководство полпредством поручить атташе. На другой день я взял французскую визу и вечером выехал в Париж. На вокзале две колеблющиеся тени (явно малоопытные) следили за каждым моим шагом. Это, видимо, были «идейные» добровольцы, не освоившие ещё «новой» для революционера профессии в срочном порядке мобилизованные, чтоб проследить за моими передвижениями.

Настроение было крайне подавленное, в сознании начала вырисовываться глубокая внутренняя катастрофа. Противоречивые чувства охватывали меня. Иногда все ещё казалось, что дело идет о личных счетах, личной трусости и персональных расправах «вождя» хотя бы и в отношении уже многих десятков людей. Казалось, что несмотря на эти преступления, предавших революцию ренегатов, за ними все же стоит ещё не разрушенное, хотя и сильно изуродованное и обезображенное здание социализма, и живы ещё, несмотря ни на что, основные завоевания рабочей революции — дело, созданию которого мы отдавали свою жизнь и свои силы. И тогда, при всей нелепости случившегося, личный вопрос казался совсем мелким и незначительным.

Наряду с апатией была готовность разрушить это напряженное положение и моральное одиночество — поехать на родину, выслушать обвинения (в которые, думалось, обвинители верят, а если это так, то кто может быть прав против своей партии и своей страны) и принять причитающееся за свою «вину» наказание. Работать для страны, строить и мыслить ведь можно и в сибирских лагерях, а другие борцы моего поколения, — более «гибкие» и более «соответствующие» новой жизни и её требованиям, — по-прежнему будут продолжать начатое вместе дело. Это казалось все же яснее и проще, чем мучительный разрыв, катастрофа и крушение смысла всей твоей сознательной жизни. Но события развивались и нарастали с чудовищной быстротой, беспощадно вытесняя эти размышления.

В ошеломляющей цепи расправ исчез личный конфликт. Разгром основных кадров, методы циничного массового обесчещеня и убийств десятков тысяч ни в чем неповинных борцов, — все что проделано за последние месяцы, окончательно открыло мне глаза. Дело значит не в той или иной степени «вины». Гибли и менее виновные в «ереси», чем я и совсем невинные. Мои руководители и товарищи — преданные большевики исчезали один за другим. Дело значит не в фантастическом «шпионаже и троцкистско-бухаринском бандитизме», а в социальной и политической принадлежности их к определенному поколению, определенному общественному слою. Реакционная диктатура, совершая контрреволюционный переворот в политике страны, уничтожила весь тот слой, который не мог служить новым целям. Ренегаты Октября прекрасно знали, что мы невинны, что вся наша вина лишь в том, что мы явно плохой материал и непригодное орудие для целей контрреволюции, и что, поэтому, нас надо уничтожить. Это стало бесспорно, ясно для всякого, кто следил за событиями. Исчезли последние иллюзии.

Цели кровавой бойни, казавшейся непонятной жестокостью и безумием, обрели свое социальное и историческое значение. Стал ясен смысл политической

эволюции СССР, стали ясны обман и преступная эксплуатация реакционной диктатурой великих завоеваний Октября — опустошенных изнутри и преданных — на защите которых стоял рабочий класс всего мира; эксплуатация иллюзий западного пролетариата, — позволяющих скрывать социальное значение эволюции СССР и подлинное лицо кровавой диктатуры под маской страны социализма. За завесой «самой свободной и самой демократической страны» Каины рабочего класса, бесчестные, преступные и трусливые палачи, в целях своего самосохранения, уничтожают дело революции, заливая свою кровавую работу потоком грязи, лжи и гнусных и чудовищных обвинений. Стало ясно, что совершается величайшая ложь в истории человечества величайшее преступление перед мировым рабочим движением.

Обманываться больше было нельзя. Отпали сами собой мысли о покорной сдаче себя на бойню, ибо терялся всякий внутренний смысл этого шага, который стал бы лишь моральным оправданием ренегатов и палачей. Нет, это не тот путь, по которому надо идти, путь который напрашивался, когда оставались ещё какие-то иллюзии. Надо проделать мучительную операцию разрыва, мужественно сделать из этого все выводы, обязательные для революционера. Надо думать о своих братьях и соратниках, о жертвах нынешних и будущих, о братьях по борьбе на Западе, жертвах иллюзий и обмана. Надо разоблачать ложь и преступления ценой любого испытания.

Убийцы Райсса просчитались. Смерть его не остановит и не запугает. Она лишь подтолкнула.

Так завершился разрыв и родилось мое заявление от 1-го декабря.

Каковы мои ближайшие намерение и цели?

Я собираюсь, прежде всего, найти работу и начать зарабатывать себе кусок хлеба, заняв рядовое место среди трудящихся страны, давшей мне убежище. Налаживать свою трудовую жизнь я должен, совершенно не вмешиваясь в политическую жизнь этой страны. Это не значит, конечно, что я превращаюсь в обывателя.

Я не был раньше и не являюсь и сейчас троцкистом, но я уже указал в своем письме от 1-го декабря, что я не изменю идеям, которым служил всю жизнь — делу Ленина и Октябрьской революции, делу социализма.